

Елена Викторовна Жилкина

Иркутск городок тесный. Я женился во второй раз и поселился с Тамарой в бывшей усадьбе канцелярии генерал-губернатора на бульваре Гагарина, в имперские времена в доме жила прислуга. После революции его разгородили на коммунальные клетушки, как и другие свободные помещения, хозяева которых были изгнаны из страны, расстреляны или отправлены в лагеря. Добротный двухэтажный дом, рубленный из неохватных брёвен, под сенью тополей, посаженных в те баснословные года. И сегодня его населяют около десятка семей. За сто лет ни Советская власть, ни капиталистическая не смогли отменить потребность людей в приличном жилье.

Мы расположились в однооконной комнате с выходом на улицу, с печкой, не только обогревавшей, но и одаривающей в зимние вечера живым огнём, для нас это было счастливым подобием шалаша. Там у нас родился сын Сашка.

Когда я познакомился с Еленой Викторовной Жилкиной, то узнал, что в детстве она жила во второй квартире этого дома, в такой же маленькой комнатке с одним окном. И сегодня мне об этом напомнила дочка нынешней соседки, которую я встретил, проходя двором, она заговорила о Елене Викторовне, и мы долго простояли у её двери.

Позднее Елена Викторовна жила на улице Большой, вначале в доме 36 (в нём также проживали и Георгий Марков, и Марк Сергеев и Леонид Огневский, во дворе, в одноэтажном доме — Петр Реутский), когда дом расселили, ей предложили комнату над рестораном «Байкал» на втором этаже. Крутая неширокая лестница упиралась в её квартиру, а слева располагался объёмный широкий коридор, в него выходили двери квартир Константина Фёдоровича Седых и Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Татьяна Суровцева в статье о Елене Викторовне «По сердцебиенью своему...», статье душевной и восторженной, говорит об этой квартире: «В особом уюте ее квартиры (которую она шутя называла «по вечерам, над ресторанами»), потому что располагалась она как раз над рестораном «Арктика») умещались сибирские дали, дороги земные и небесные, шум таежного листопада и тревожный прибой Байкала... А еще — книги, многие из которых были написаны ее друзьями-поэтами и хранят их короткие, шуточные или серьезные

послания, некоторые уже из небытия; картины — дарения друзей-художников, и среди них замечательный портрет кисти А. Жибинова, на котором — полный благородства лик тридцатилетней иркутской мадонны Елены Жилкиной).

В тексте Татьяны есть неточность, скорее оговорка, чем ошибка, Суровцева пишет, что Жилкина жила над рестораном «Арктика», а на самом деле — над рестораном «Байкал», оба эти заведения находились на одной стороне улицы, недалеко друг от друга, к тому же Татьяна по благосостоянию своему вряд ли могла посещать подобные заведения, откуда ей запомнить.

Жизнь Татьяны Суровцевой по некоторым приметам повторяла судьбу старейшей иркутской поэтессы. Она тоже долгие годы жила одиноко, с ребёнком в деревянном, царской постройки доме, который и сегодня стоит на ул. Декабрьских Событий, рядом с мечетью. Муж её не сбежал, скорее она его выгнала, иногда у неё в гостях я встречался с ним. Борис работал в филармонии, все творческие люди города были знакомы друг с другом. Когда он появлялся, обычно ругалась, она бурно реагировала и выгоняла его. Он выглядел виноватым.

Иркутский журналист Владимир Ходий, основываясь на архивных данных, утверждает, что Елена Викторовна «Согласно тому же личному делу, родилась в Иркутске, а не в селе Лиственичное (ныне посёлок Листвянка), как принято считать. Иное дело — семья жила на Байкале, и своё детство Елена Викторовна провела на его берегах. О матери нигде ничего не сказано, кроме возраста. А отец, по происхождению крестьянин, служил на водном транспорте, и в 1938 году, когда семья уже жила в Иркутске, ему было 63 года».

Как-то мы с Еленой Викторовной проходили по улице Горького, она показала зонтиком на небольшие окна второго этажа: «Вот здесь, Вася, я родилась». По другим сведениям она родилась в Листвянке, это вопрос специального исследования, но то, что она жила в доме по ул. Горького, 34 — факт, дом этот, каменный, стоит и сегодня.

— «Здесь я, Вася, родилась», — срифмовал я, — будет поэтичней. — Она улыбнулась и внимательно посмотрела на меня снизу вверх.

Она говорила, что родилась в зажиточной семье, работа отца была связана с рыбным промыслом на Байкале, он поставлял рыбу в Иркутск.

Елена Викторовна и в свои семьдесят была женщиной без возраста.

Иногда она звонила мне и просила починить электрическую розетку, уют, заменить перегоревшую лампочку. Мы пили чай в кухне, помню мизерные хрустальные розеточки под варенье, в которые входило не больше столовой ложки, ломтики сыра или колбаски, такие же миниатюрные. Потом переходили в её кабинет с двухтумбовым старинным письменным столом, со столешницей, покрытой зелёным сукном и матовым стеклом поверху. На стене, выходившей на улицу Большую, справа от окна висел её молодой портрет. Я слушал её стихи, читал свои, говорили о жизни, о поэзии. Случалось, раздавался звонок в дверь, и она вставала открывать:

— Ну всё, Вася, Юра пришёл.

Когда впервые была сказана эта фраза, я не знал о ком она, но это произнесенное голосом, выдавшим её отношение, «Юра пришёл», давало понять, что я его знаю. Елена Викторовна открыла дверь. Я стал надевать пальто, вошёл Юрий Аксаментов, поэт, живший в Усолье-Сибирском, и по тому, как улыбочиво посветлело и преобразилось её лицо, и глаза внимательно, ласково остановились на его лице, я подумал, что пришёл не просто друг. Он был мрачен и неразговорчив, тёмное

лицо его застыло в одном выражении, что-то неразборчивое буркнул на моё приветствие, хотя мы были давно с ним знакомы. Я тоже жил в Усолье. Только через время я узнал, что у него была тяжёлая форма душевной болезни, он бродяжил, не жил в семье, и до сего дня неизвестно, где и когда он умер, где покоятся его останки. Были попытки прояснить это, но, ни вдова его, ни дети ничего не знали, или, допускаю, по какой-то причине скрывали. Усольчанка Галина Бакшеева провела серьёзное расследование последних лет жизни Юрия Аксаментова, она писала письма, обращалась в архивы, бывала в больницах, где он мог лежать, встречалась с теми, кто знал его, но его место упокоения так и остаётся в тайне.

Елена Викторовна была в Иркутске литературной мамой. Поэтессой она была не выдающейся, но политические страсти вокруг Ахматовой нешуточной волной докатились и до наших окраин, Жилкину обвинили в «ахметовщине», потому что, когда известная кампания по известным журналам докатилась до Иркутска, все забыли и о Зоценке, и Анне Андреевне. Елену Викторовну перестали публиковать, потому что она просто была красивой женщиной, а значит и в «ахметовщине» могла быть замешана: «Все мы бражники здесь, блудницы...» Именно в «ахметовщине», когда в Иркутске перепечатывали постановление о «карательных» мерах, машинистка нажала не ту букву, а начальству откуда было знать, что весь этот сыр-бор связан с Анной Андреевной Ахматовой.

По иркутскому городскому радио, анонсируя вечер памяти поэтессы Елены Жилкиной в Вампиловском центре, диктор сказал, что Елена Жилкина «по признанию Распутина, Вампилова, Кобенкова, Козлова была литературной крестной мамой многих иркутских писателей». Вероятно первоисточником этого сообщения стали слова из очерка Татьяны Суровцевой «По сердцебиенью своему», где она писала: «Многим из нас стала она «крестной матерью» в иркутской литературе. П. Реутский и С. Иоффе, А. Вампилов и В. Распутин, В. Козлов и я, пишущая эти строки (меня она буквально за руку привела в Восточно-Сибирское книжное издательство), — все это ее «крестники»».

Это, конечно, преувеличение влияния Елены Викторовны на формирование писателей, они развивались и сами по себе. Но то, что она притягивала к себе добротой и приветливостью, бесспорно, через её гостеприимный дом прошли, наверное, все литераторы той поры, и она старалась помогать начинающим, и помогала в анализе стихов, в публикациях. Это, наверное, можно назвать литературным материнством. Долгое время работала литконсультантом в «Восточно-Сибирской правде» и «Молодёжке». Само напоминание об этом в наше время кажется фантастическим: литконсультант в редакции занимался отбором стихов и прозы для публикации на страницах партийно-государственных изданий. Сегодня и газета стала частной, и литература, отделённая от государства, тоже превратилась в частное дело. И хорошие стихи в газетах появляются нечасто.

*И в ночь ненастную
Меня несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей —*

поётся в известной песенке периода первого НЭПа, похоже, что это можно отнести и к современной литературе.

Может быть потому, что она была единственной в городе поэтессой, может потому, что пострадала от гонений, её не печатали, а более всего по доброте своей сердечной, и распутинское поколение писателей, и наше, собирались у Елены Викторовны шумными ватажками. И она терпела наше бражничество, выносила наши чудачества, потому что сама имела живую поэтическую и в чём-то бесшабашную душу.

Бывали, особенно зимой, ситуации, когда негде было посидеть с друзьями. Ресторан — не по карману, а распить бутылочку-другую недорогого портвейна за разговором душа требовала. Жёны уставали от друзей поэтов и их очарованных поклонниц, а у Елены Викторовны — дёшево и душевно. Сегодня и в мыслях не представишь, что можно с бутылкой вина без всякого предупреждения завалиться к какому-нибудь приятелю, тем паче к знакомой женщине пенсионного возраста со случайной компанией, и до полуночи, а иногда и долее витать в разгоряченных спорах и маниях величия. И что за чудак назвал это счастливое время безвременьем и застоем. Только в таком тесном искреннем и честном общении и могла зародиться настоящая литература.

В Доме литераторов всегда можно было встретить кого-то из писателей, в какое бы время ни приходил, завязывался разговор, чаще о литературе, о прочитанных книгах, журналах. Откуда-то непременно появлялся искуситель, предлагавший «скинуться», и скидывались, а иногда и неоднократно, это упрощало и оживляло отношения, и каждый был виден, открыт и понятен. Меня могут упрекнуть, что я часто акцентирую внимание на этом, — а что делать? — фигура умолчания искажает правду. У нас даже присказка весёлая бытовала: кто не пьёт, тот или стукач, или туберкулёзник. Сегодняшний дом литераторов похож на больничный коридор, где звуки шагов приглушены тряпичными бахилами, где принято говорить тихо, и чиновники-писатели, закрываясь в кабинетах, говорят шепотом, как будто диагностируют очередную рукопись... Да простят меня мои товарищи, это ностальгическая старость выказывает ворчанием своё недовольство.

— Ну, что, Ленка-вертихвостка, опять мужичка какого-нибудь охмурила в Доме творчества? — приветствовал Елену Викторовну, вернувшуюся из Москвы, Юрий Самсонов. Она улыбалась, чувствовалось, что грубоватая шутка её не корбит, а может и нравится. Он мог назвать её и старой хрычовкой. На что она тоже не обижалась. Отношения между писателями были почти родственными, чаще всего добрыми. Впрочем, как и во всём народе, они были несравнимо мягче и добрее нынешних.

Юрий Самсонов был человеком забавным. Всё в нём было нескладно, и вытянутое лошадиное лицо, чем-то напоминающее пастернаковское, и сухая субтильная фигура, и походка: при ходьбе руки у него не двигались, а висели неподвижно вдоль тела. Он легко, не думая о последствиях, мог устроить розыгрыш. В компаниях был весёлым и находчивым.

Елена Викторовна опекала в форме добровольной общественной нагрузки двух геологов, Виктора Власенко и Георгия Эдельмана; тёплые отношения, возможно по схожести судеб, сложились у неё с Татьяной Суровцевой. Она отбирала их стихи для публикаций, редактировала, писала рецензии и пристраивала в газетах и издательстве, делала за них необходимую работу.

Как-то позвала меня помочь ей разобраться со стихами Георгия Эдельмана. Автор принёс ей машинописную рукопись, толщина её была сравнима с толстовской «Войной и миром». Многие стихи повторялись в нескольких экземплярах, многие «слепые» страницы едва прочитывались, были какими-нибудь пятыми или седьмыми после слабой копирки. Она разложила их на полу кабинета, кухни, часть ушла в прихожую.

— Елена Викторовна, что это такое? Верните автору, пусть он занимается, какое вам дело до всего этого.

— Вася, он уехал в тайгу, в экспедицию, до конца осени, а в издательстве торопят, надо уже сдавать книжку в набор. А на полу я всегда раскладываю, так удобней, каждый лист на виду.

— Экспедиция, называется, — вспомнил я один мужичкий анекдот, но рассказывать не стал.

До позднего вечера мы складывали листы в стопки, отбирая для типографии более чёткие экземпляры.

Писательские Дома творчества располагались в живописных районах, например в Крыму в Коктебеле, в Дуболгах на Балтике, в Подмоскowie — в Переделкино. Сибиряки реже бывали там, всё же дорога дальняя, а москвичи и жители центральной России постоянно брали путёвки, которые почти полностью оплачивал Литературный фонд, продляли их, некоторые писатели из этих домов, как говорится, не выводились. Без житейских забот-хлопот, живи себе на полном пансионе и хоть запишись.

Елена Викторовна только однажды была в Доме творчества в Переделкино, уже в очень зрелых годах. После возвращения я зашёл навестить её. Она читала мне стихи, написанные там. Я спросил о её впечатлении, как там жилось и писалось. И она, видимо впечатлённая этим открытием больше, чем другими, как-то необычно глядя мне в глаза, сказала:

— Знаешь, Вася, что меня удивило, там одни евреи, я никогда не думала, что у нас столько еврейских писателей.

— А известные были?

— Да нет, я не узнавала никого.

Ходила легенда, что Елена Викторовна начала получать пенсию на десять лет позже. Легко верится в это хотя бы потому, что она всегда скрывала свой возраст.

И в самом деле, как выяснил Владимир Ходий, путаница в её документах была, о чём он говорит в статье «Слово о поэтессе Елене Жилкиной»: «Первое, что нуждается в уточнении, — вопрос о том, когда Жилкина родилась. Как ни странно, ясного ответа на него нет. В «Википедии», «Иркипедии» и других печатных и интернет-изданиях единогласно утверждается, что это случилось в 1902 году. Однако, перелистывая в хронологическом порядке личное дело, сразу натыкаешься на

собственноручно выведенную Еленой Викторовной одну и ту же дату — 1905 год. И только в относящейся к июлю 1945 года учётной карточке специалиста против графы «Год рождения» видишь дату — 1902. Она повторяется в личной карточке члена/кандидата Союза советских писателей от сентября 1947 года и в анкете члена Литфонда от апреля 1952 года. А вот в личной карточке члена/кандидата Союза советских писателей от января 1953 года снова всплывает дата — 1905 год. Очевидно, была права одна из поэтических «крестниц» поэтессы Татьяна Суровцева, когда в своих воспоминаниях заметила: «Как многие творческие натуры, Елена Викторовна Жилкина в течение всей своей жизни достаточно болезненно относилась к попыткам точного определения и опубликования даты своего рождения...»

На своё пятидесятилетие Елену Викторовну и меня пригласил в гости Виктор Власенко. Он жил в Мегете в панельной пятиэтажке, построенной для работников геологоразведочной партии. Мы приехали на электричке. Его дом был виден от перрона, поэтому он нас не встречал, Елена Викторовна бывала у него, мы добрались сами. Пришли несколько его сослуживцев с жёнами. Виктор был охотником и рыбаком, как сибиряк и геолог, его жена приготовила глухаря, добытого им «специально для Елены Викторовны», стол украшали дачные соленья, таёжные дары: папоротник, грибы, брусника. По сути его пятидесятилетие превратилось в чествование Елены Викторовны, она была царицей стола, все взгляды, внимание, вопросы, просьбы почитать стихи были к ней.

Возвращались в Иркутск на последней переполненной электричке, притиснутые друг к другу в тесном тамбуре. Елена Викторовна держала у лица букет садовых пионов, подаренный ей Виктором, она чему-то мягко улыбалась. Стук колёс, форсированные голоса пассажиров, скрежет механизмов, встречные поезда с воем и грохотом уносились в темноту бесконечности.

*Будто снова сквозь года
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.
И рука ещё тепла,
И щека ещё прохладна,
И она ещё так жадно
В жизнь и счастье влюблена...¹*

Умерла она 21 сентября 1997 года в Москве, вдали от Байкала, Иркутска. Я не провожал её в последний путь, помню такой, какой она была в этой жизни.

Человек со «святой» фамилией

Мы вышли с Анатолием Дмитриевичем из ворот Знаменской обители, только что беседовали с архиепископом Вадимом об издании книги Анатолия Дмитриевича «Необоримая стена» о Православии в Иркутской губернии. В соборном храме поклонились мощам святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, особо почитаемого Анатолием Дмитриевичем, пересекли оживленную развязку и спустились к Ушаковке, чуть ниже моста, наискосок от места, где водружен поклонный крест в память о расстрелянном большевиками в 1921 году Верховном правителе России, адмирале Александре Васильевиче Колчаке.

¹ Стихи Арсения Тарковского.

День был ясный и жаркий, а в тени диких тополей, стихийно заповивших берег, было уединенно и приятно прохладно. Анатолий Дмитриевич раскрыл тяжелый авторитетный докторский портфель, извлек из него и протянул мне большую, темного стекла бутылку сухого вина:

— Владыке не решился предложить, а нам с тобой кто запретит?

Следом возникли из того же кожаного нутра два серебряных стаканчика и штопор, который он передал мне.

— Ну, вы прямо фокусник и к тому же волшебник, угадывающий мысли.

Внизу едва заметно ветерок рябил поверхность Ушаковки, и беседа наша текла так же неторопливо и свободно.

Из разговора запомнилась одна яркая мысль.

— А знаешь, — говоря о «черном попе» Гермогене, строителе Киренского Свято-Троицкого монастыря, заметил А.Д., — слово «строитель» происходит от глагола с-троить, т.е. соединить и воплотить в храме триипостасную суть Бога...

* * *

Кто-то сказал, что имя, данное человеку от рождения, влияет на дальнейшую судьбу, я думаю, что фамилия тоже. Православного нарекают при крещении именем святого, память которого совершается в этот или близкий по святцам день, Анатолию Дмитриевичу досталась и «святая» фамилия.

Преподобный Ефрем Сирин называл себя человеком «неучёным и малоосмысленным», но его учёностью восхищался богослов Василий Великий. Прошли долгие века, но и сегодня в дни Великого поста звучит в православных храмах по всей земле молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

В светском обществе эта молитва известна в переложении Александра Сергеевича Пушкина:

* * *

*...Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

Анатолий Дмитриевич, унаследовавший такую фамилию, не мог не стать философом и писателем.

Он предложил мне быть редактором его книги «Необоримая стена». Встречались часто, обсуждали тексты, оформление, иллюстрации. Он был покладистым автором, но твёрдым во мнении и не равнодушным к своей книге, прислушивался к моим замечаниям, иногда соглашался. Бывают авторы, для которых главная цель — опубликоваться, готовы на любую правку, лишь бы книга поскорее вышла из печати, чтобы удовлетворённо и счастливо увидеть своё имя на обложке.

Знакомы мы были с образования «Общества духовного возрождения», в сборе Богоявления проходили православные чтения, я на первых порах выполнял некоторую организаторскую работу. Одну из бесед под названием «Святитель Иннокентий и будущее Сибири» проводил Анатолий Дмитриевич. После этого мы подготовили публикацию в журнале «Сибирь». Так началось наше сотрудничество.

Оформлял «Необоримую стену» Фёдор Ясников, нарисовал буквицы, заставки, Борис Дмитриев дал фотографии сохранившихся иркутских церквей и пере съёмку опубликованных в старых изданиях видов иркутского Вознесенского и киренского Троицкого монастырей. Частично финансировал издание Политехнический институт.

Презентация проходила в актовом зале Политехнического университета, хорошие слова были сказаны архиепископом Иркутским и Читинским Вадимом, ректором Сергеем Борисовичем Леоновым, профессорами и преподавателями университета. По окончании прошли в уютный небольшой зал для особо торжественных встреч и там закончили вечер в дружеском кругу. Спустя какое-то время книга была удостоена Губернаторской премии Иркутской области. Анатолий Дмитриевич пригласил тех, кто работал над книгой, в кафе на Степана Разина, недалеко от Ангарского моста, на товарищеский ужин.

Журнал в те поры финансировался нестабильно, денег не бывало часто даже на вывоз тиража из типографии, иногда я просил Анатолия Дмитриевича помочь.

У него был небольшой автобус, загранично-экзотичный и явно не новый, живописно сочетавшийся с его на первый взгляд суровой, я бы даже сказал, «свирепой» внешностью. Лохматая борода, густые брови, морщины героя жестокого скандинавского эпоса, глубоко покрывшие его смуглое лицо, а за этими внешними чертами открывалась неожиданно добрая и отзывчивая душа. Он имел совершенно шоферской, а не профессорский вид, в вязаной шапочке и крагах, похожие я видел только в кинохронике начала века у первых русских лётчиков. Помогал мне таскать пачки, укладывал, потом мы вместе развозили их по библиотекам и сносили в подвал редакции. Я давно для себя отметил и утвердился во мнении, что русский человек сохраняет простоту в общении и даже в одежде, на какую бы высоту в обществе он ни поднимался. Яркоперые попугаи у нас тоже встречаются, но негусто.

Работая редактором, я общался со многими иркутскими учёными, авторами журнала «Сибирь» и советского и нового призыва, историками и филологами, философами и экономистами, достойными специалистами и интересными людьми, но товарищеские отношения сложились у меня только с Анатолием Дмитриевичем. С первой же нашей встречи обнаружилась притягательная общность интересов, взглядов на перестройку государства, на возрождение Православия, спокойная оценка советской истории: в ту пору в наше прошлое не кидали камней только безрукие, отрезвление для многих пришло позже, задний ум иногда яснее и правильнее.

Валентина Андреевна Семёнова вспоминает ещё один эпизод нашего сотрудничества в статье «Верующий философ». В 2002 году иркутские литераторы и редакция «Сибири» вместе с Научной библиотекой ИГУ проводили конференцию по публицистике Валентина Распутина под названием «Моя и твоя Сибирь», посвятив её 65-летнему юбилею писателя. В ней принял участие и А.Д. Сиринов, и его

доклад мы затем опубликовали в «Сибири». Помню, что материал пришлось сокращать по объёму, он был великоват для журнала, пришлось править и стиль — автору не всегда удавалось без шероховатостей соединить научную основательность с живым изложением. Работа была спешной, впечатления от статьи не осталось.

А пять лет спустя в издательстве Г. Сапронова вышла книга «Свет распутинской прозы», написанная философом Сириным.

«Наверное, вряд ли ошибусь, если скажу, что всякое новое высказывание о Распутине, которое появляется сегодня, в первую минуту скорее способно оттолкнуть читателя, чем привлечь. Причина понятна: написано о современном классике так много и такими солидными авторами, что кажется, нового уже нечего сказать. И я не торопилась читать исследование уважаемого профессора. К тому же пробежал слух об излишней комплиментарности книги, а это означает односторонность. Не повлияло и то, что сам Распутин чуть позже, словно спохватившись, хорошо о ней отзывался. Из чувства благодарности, подумалось.

Прошло ещё какое-то время, и книгу я всё-таки открыла — для короткого упоминания о ней в «Сибири». Открыла — и прочитала, не отрываясь ни на что другое, до конца. И сразу же принялась за рецензию».

* * *

Мой сын учился в политехническом университете на энергетическом факультете. Парень был увлекающимся и не очень склонным к принудительной учёбе, больше всего ему нравилось проводить время в компьютерном классе, к тому же пацифистские настроения в молодежной среде рождали конфликт на военной кафедре, и мне приходилось спрямлять острые углы, ходить в институт. Я мог бы обратиться и к ректору Сергею Борисовичу Леонову, с которым у меня были добрые отношения, но не хотелось лишний раз беспокоить, да я предпочитал выяснять вопросы непосредственно на кафедре. Анатолий Дмитриевич знакомил меня с преподавателями, терпеливо сопровождал меня по бесконечно длинным коридорам, а иногда и просил за меня. Порой сам звонил мне, когда мы долго не встречались, интересовался, как дела у сына.

Помнится один забавный случай, он выпадает из общей тональности повествования, но что делать, так было, и, наверное, жизнь тем и хороша, что в ней случаются непредвиденные истории.

В 2007 году в библиотеке имени Молчанова-Сибирского, тогда ещё находившейся на улице Российской, шло представление книги Анатолия Дмитриевича Сирина «Свет распутинской прозы». Перед началом Распутин, Сирин, Геннадий Сапронов, Сергей Элоян, Сергей Ступин и я, был кто-то еще, пили чай в небольшой комнатке за книжными стеллажами. Я не один раз уже бывал здесь, приветливые библиотекари всегда потчуют пирогами, которые не то сами пекут, не то заказывают где-то, но пироги по-домашнему вкусны. Когда шли в зал, Сергей Геннадьевич Ступин достал свой содовый:

— Надо выключить, а то будет шуметь. — Я последовал примеру. День был жаркий, зал полон, кондиционеры не справлялись. Я был в джинсах и футболке, сунул телефон в задний карман брюк.

За мной сидел какой-то шумный человек, по виду выпивший, выкрикивал с места, потом стал громко говорить, чтобы дали слово Сирину, на него «шикали», шепотом увещевали, но он не унимался. В какой-то момент уже перед концом

встречи я хотел узнать время, полез за телефоном, но его не обнаружил. Посмотрел под стулом, спросил соседей и того веселого говоруна, никто не видел. «А может телефона и не было», — мелькнула хрестоматийная спасительная фраза, но тотчас вспомнил, как выключил его перед встречей. Ситуация... Встреча шла к концу, задавались последние вопросы, а я лихорадочно думал, что делать? Ну, Чернышевский, ну, сукин сын... Сомнений не было, телефон, который, видимо, торчал из заднего кармана, вытащил крикливый человек, но как докажешь? Что, вызывать милицию? Хорош улов для репортеров: во время презентации книги Дмитрия Сирина о Валентине Распутине у главного редактора журнала «Сибирь» украли сотовый телефон. Таков уровень поклонников русской литературы...

Не мог же он, в конце концов, провалиться сквозь паркет. Потребовать у подозрительного человека, а если не он взял? Я же у него спрашивал. Промолчать? Да и телефон жалко, родственники подарили на день рождения, накануне.

Ведущая объявила, что встреча закончена, застучали сдвигаемые стулья. Я повернулся к «подозреваемому». Мысль созрела мгновенно при повороте головы, я посмотрел ему в глаза:

— Я тоже уважаю хороший розыгрыш, верни телефон.

Он молча опустил правую руку в карман пиджака и протянул мне:

— Держи...

Ко мне кто-то подошел, заговорили, и я забыл бы об этом случае, если бы мог ответить себе, что это было? Этот человек так настойчиво требовал дать слово Анатолию Дмитриевичу, что я подумал даже, что они могут быть близкими приятелями, а когда спросил Анатолия Дмитриевича, он мне ответил:

— Встречались где-то, юрист он какой-то, я даже не знаю, как его зовут...

Вот такая забавная заковыка... Кому как не юристам ходить по лезвию закона. Может быть, он был так настойчив и требовал первому предоставить слово «виновнику торжества», потому что ему действительно понравилась книга Анатолия Дмитриевича. Разве юристы не могут быть серьезными читателями?

Карлсон, который не жил на крыше

Семидесятые — восьмидесятые я бы назвал годами весёлой безответственности. Или оттого, что мы были молоды, или потому, что партия действительно хорошо рулила нами, какое-то бездумное — о будущем — состояние охватывало нас и несло по жизни. Не скажу, что мы были бездельники, нет, каждый работал, заводил семью, строил планы на будущее, но когда встречались, забывали обо всём, какое-то необычайно лёгкое состояние коллективного счастья охватывало нас, и мы редко при встречах могли обходиться без спиртного. И спасало нас только здоровье, у кого оно, конечно, было, да ещё то, что в нашей среде тогда не было принято пить водку, обходились креплёными и сухими винами, а «отсутствие присутствия», как говорили о безденежье, тоже не давало возможности разгуляться. Но принцип: питье определяет веселие — был распространён широко.

В очередную командировку в Зиму по линии Бюро пропаганды художественной литературы мы отправились втроём: Володя Удатов, Толя Кобенков и я. Накануне у бухгалтера Марины Борисовны Салеевой получили командировочные и договорились встретиться в вагоне-ресторане, потому что Кобенков должен сесть в поезд в Ангарске, он заранее взял билет и позвонил, как договорились, место было в начале поезда, а у нас с Володиёй — в конце.

В Иркутске мы вошли в вагон, оставили сумки в купе и пошли в ресторан. Из спиртного оказалось только шампанское, пока заказывали еду, ждали, поезд благополучно подкатил к Ангарску, и Толя вошёл в вагон-ресторан, готовый обнять не только нас, но и всех официанток и посетителей. Время за шампанским и осетриной (откуда она взялась?) летело, как копыта впереди коня.

Поезд остановился.

— А это что за станция? — спросил Володя Удатов, сидевший спиной к локомотиву, он не мог видеть вокзала, мы до него не доехали. Я посмотрел в окно. Чуть впереди, на зелёном фронтоне сияло солнечной желтизной холодное слово «Зима».

— Приехали! — почти выкрикнул я, — на выход с вещами!

Но до вещей надо было ещё добежать.

— Граждане пассажиры! Пассажирский поезд «Хабаровск — Москва» отправляется от перрона. Просим пассажиров занять свои места в вагонах.

Резво выскочили из вагона, я — не пропадать же добру — прихватил недопитую бутылку шампанского, и кинулись врассыпную: Толя побежал в головную, а мы, соответственно, в хвостовую часть. Официант вначале бросился за нами, потом за Кобенковым, потом остановился:

— А кто рассчитывать будет? — крикнул в нашу сторону.

— Да мы сейчас, только вещи возьмём и вернёмся.

Проводницы во всех вагонах сменили зелёные флажки на красные.

И я зачем-то, может быть, чтобы показать, что не обманываем, поставил бутылку с шампанским на перрон. Когда вернулись, её уже не было. Видимо, официант конфисковал в качестве морального ущерба. Рассчитались с ним и зашагали навстречу народившемуся дню.

— Такие города приятно грабить ранним утром, пока не печёт солнце, — процитировал Володя Удатов авантюрного Остапа. От общих командировочных денег у нас осталось три рубля и восемнадцать копеек. Надо было устраиваться в гостиницу и жить неделю.

— А осетринка была хороша, — улыбнулся Толя.

— И шампанское не хуже, — подтвердил я.

В привокзальном буфете на остаток бюджетных средств выпили по стакану портвейна, закусили пирожками с ливером.

— Теперь нас спасти может только вытрезвитель. Переночуем и с утра придемся за работу. Предлагаю сдать прямо на вокзале, — издевался Володя.

— Есть и другие варианты, — странно уверенно заметил Толя.

Сегодня и представить нельзя, что, оказавшись в районном городке без копейки в кармане, можно было зайти в редакцию газеты, и за предложенную подборку стихов сразу, без проволочек, тут же получить авансом гонорар, рублей 20-30, что было вполне неплохо, если минимальная зарплата была девяносто.

Главный редактор Сергей Пугавко, человек приветливый и добрый, встретил нас как братьев родных, которых давно не видел. Мы уже бывали в Зиме, и были знакомы. Володя, прямо в кабинете главного редактора, написал информацию о цели нашего приезда, мы приложили к его тексту по несколько стихотворений и вместе с Сергеем Петровичем прошествовали в бухгалтерию.

Из редакции направились в гостиницу, а с утра занялись пропагандой нашей литературы.

Бюро пропаганды художественной литературы! Как магически грозно звучало сочетание, казалось бы, не сочетаемых по смыслу слов! Какой трепет наводило оно на профсоюзных начальников, не знавших, что это за организация, но слово «пропаганда» настораживало всякого, и сотрудникам Бюро легко было договариваться о выступлениях писателей.

В то время в Бюро работали Владимир Удатов, заведующим, и Геннадий Кинжалов, заместителем. Они организовывали поездки, иногда сами сопровождали группы, выступали на встречах с читателями, представляя писателей, рассказывали об Иркутской литературе, о книжных новинках, о «творчестве и чудотворстве», как говорил Геннадий Машкин, которого все звали «Классиком», так как его повесть «Синее море, белый пароход» была включена в школьную программу для внеклассного чтения. И за другими писателями тоже иногда прочно закреплялись нарицательные имена, например, Георгий Феодосьевич Богач имел прозвание «Профессор», хотя на самом деле был только доцентом.

В Советском Союзе развитию литературы уделялось серьёзное внимание. Понятно, что она имела и идеологический смысл, но сама система писательского Союза, издательская деятельность, подготовка кадров, пропаганда литературы, социальная защищенность были на достойном уровне.

Бюро пропаганды знакомило широкий круг читателей с литературой. Писатели приходили к рабочим и колхозникам, к шахтёрам и строителям, к учащимся и студентам, работникам общепита и детских учреждений, и кто знает, может быть и благодаря этому наша страна была самой читающей в мире. Отлаженная система объединяла и писателей, помогала лучше узнать друг друга в повседневности, а молодые писатели, общаясь с мастерами, набирали и профессионального, и жизненного опыта.

Материальная поддержка писателей была ощутимой. Член Союза писателей получал за выступление 13 рублей, а позднее 20. Член литературного актива — 8. За двухнедельную поездку можно было заработать рублей четырёста.

Редкий руководитель большого предприятия получал в месяц такой оклад. Володя умел организовать выгодные для писателей поездки: за неделю можно было заработать на месяц-два безбедного и беззаботного жития.

Марина Борисовна Салеева, проработавшая бухгалтером в Бюро от создания до прекращения его деятельности, вспоминает, что при Владимире Удатове был подъём активности, во много раз увеличилось количество выступлений, такого ни до, ни после Володи не было.

Володя пришёл работать в Бюро пропаганды художественной литературы после Николая Попова. Как тот попал в заведующие, непонятно, скорее всего, Марк Давидович Сергеев, руководивший писательской организацией, по доброте своей пригласил его. О нём говорили, что с детских лет кочевал по стране с каким-то бродячим цирком, затем работал в музыкальном театре в балетной труппе, полный и женоподобный, говорил нараспев вкрадчивым голосом с неестественным жеманством. Он сопровождал писателей на выступлениях, иногда представлял, говорил о творчестве того или иного автора, а так как всю сознательную жизнь провёл среди цирковой публики, то и окололитературные кульбиты выделывал подобно ковёрному. Марк Давидович составил краткий текст истории писательской организации, но Николай не следовал ему, а импровизировал, а так как был человеком необразованным и косноязычным, то его перлы пересказывались писателями с большим удовольствием.

Я сам был свидетелем, как однажды в какой-то иркутской аудитории Николай Попов представлял группу, заготовленного текста у него не оказалось, посему он позволил себе импровизацию:

— В моей организации двадцать восемь членов. Я их делю на три группы: писатели, поэты и лирики. — Последнее слово он произносил нараспев, делая ударение и протягивая слог «ли». Затем он перепутал Марка Сергеева и Дмитрия Сергеева, приписав второму сочинение стихов. Рассказывая о писателях фронтовиках, вспомнил Алексея Васильевича Зверева и Льва Архиповича Кукуева, добавив при этом: оба покойные, хотя в то время они благополучно здравствовали. Хорошо, что никто из них не присутствовал.

Если ему удавалось договариваться о выступлениях с какой-нибудь организацией, то делился этой радостью так:

— Я сегодня продал двух писателей.

Жаргон вполне современный, но в социалистическом обществе звучало диковато. Уже тогда он был человеком капиталистического будущего.

Как-то сидим в Бюро пропаганды, в кабинете всегда было илюдно и шумно, это было ещё в старом здании Писательской организации на ул. Пятой Армии, 36, разговариваем, чуть не вбегает в кабинет, по лицу видно, расстроен, Николай Попов:

— Вы здесь сидите, автор «Молодой гвардии» в Иркутске, а у нас ни одного выступления не подготовлено.

Мы переглянулись, не зная, что происходит. Александр Александрович Фадеев, автор романа, застрелился в 1956 году, и это было общеизвестно. Смеяться или плакать? На хохму это не походило. Но вскоре прояснилось, в Иркутск действительно приехал Фадеев, журналист одной из столичных газет, Коля услышал на совещании фамилию и решил действовать на опережение. От начальства указаний не поступало.

Видимо, до бродячего цирка весть о трагической смерти романиста так и не дошла. Деловой активности он не проявил, и был уволен.

Володе Удатову работа нравилась, и совпадала с его открытым, многословным и азартным характером. Возможность общения с писателями и его вдохновляла на творческие порывы.

Бюро пропаганды художественной литературы было создано в 1969 году. Первым заведующим был Л.С. Красовский, затем Е.Н. Звонарёв, Н.В. Попов, Лев Архипович Кукуев, писатель, участник войны, проработал совсем недолго; Владимир Удатов, который пригласил в заместители своего сокурсника по университету Геннадия Кинжалова, писатель Михаил Просекин, Тамара Леонидовна Шешукова, бывший партийный работник, Марина Ивановна Тугова, Валентина Андреевна Семёнова, некоторое время — поэт Геннадий Гайда,

Владимир Александрович Удатов был руководителем Бюро пропаганды довольно долго, и самым успешным. Добрейший человек, этаким взрослым ребенком, совершенно незащитный, кто-то из писателей прозвал его Карлсоном. Он любил подшучивать над другими, хотя сам обижался, но не был злопамятным.

Жил он в пятиэтажке на Синюшиной горе не то с матерью, не то с бабушкой, и помню, как он переживал, рассказывая о сложных родственных отношениях. Брат его находился в заключении, Володя любил и жалел брата и часто навещал его, устраивая писательские поездки, договаривался с лагерным начальством, и пока писатели выступали перед сидельцами, он общался с братом, передавал ему необходимые вещи, продукты.

Володя писал пьесы, многословные, как и он сам, но талант в них проблёскивал. Иногда он устраивал публичные читки, его сокурсники по университету, как правило, были среди слушателей в большинстве. Зная, что они без наличия спиртного могут не прийти, он запасался несколькими «огнетушителями», так в то время называли бутылки с портвейном большой ёмкости. Ему хотелось, чтобы вначале выслушали, а потом употребляли, но после нескольких сцен раздавались бодрящие и нетерпеливые голоса, и ему ничего не оставалось, как доставать из портфеля и откупоривать бутылки.

И случалось, театралы «увлекались мизансценой» так, что ему не удавалось дочитать пьесу до конца, его уже никто не слушал.

О его пьесах тепло отзывались некоторые иркутские писатели. Для музыкального театра он написал либретто комедии из жизни современного леспромхоза, и меня уговорил сочинить тексты для арий, но постановка, сейчас уже не вспомню причин, так и не состоялась. Мне неизвестно, сохранились ли где-нибудь его пьесы.

* * *

Володя родился с чувством юмора. В нашей среде «подтрунивать» друг над другом, устраивать розыгрыши, считалось творческим занятием. Володя был, пожалуй, одним из первых в этом жанре, шутил по всякому поводу и без оного. Иногда делал это очень изящно. Вспоминается один случай.

В Чунский район мы приехали на две недели. Группа в три человека была самой оптимальной, в отведённое время можно было уложиться без особого напряжения. В Чуне мы поселились с Гайдой в двухместном номере, а Удатов — в отдельном.

Еще из Иркутска прихватили с Геннадием Михайловичем бутылку марочного молдавского коньяка «Белый аист», и вечерами перед сном после ужина выпивали по рюмке-другой, так, что нам хватило его почти на неделю.

Сидим перед телевизором, смотрим последние известия, заходит Володя, видит бутылку коньяка, лицо его, и без того не хмурое, добреет. Потирает руки — понимал он толк в этом занятии.

Наливаем и ему немного, как и себе. Потягиваем, катаем терпкие виноградины во рту, словом, дегустируем.

Володя кистевым движением опрокинул в себя малый глоток, который, на его удивление, оказался ничтожным, посмотрел в рюмку, поставил на стол. Я снова наливаю всем по наперстку — и снова сидим, вдыхаем аромат, пробуем на язык.

Володя занервничал, видимо, подумал, что без него мы больше наливали или что-то еще, но резко встал, пошел к двери. Открыл ее, протиснул половину своего полноватого туловища, затем повернулся, посмотрел на нас.

— Не люблю коньяк, — сказал. И добавил: — Из-за цены...

Не знаю почему, но весёлые случаи хранятся на полках памяти так же долго, как и трагические.